

Денис Шварц



Завет Петра 2

РЕВИЗИЯ

Денис Старый

Завет Петра 2. Ревизия

<https://litres.ru/74378232>

SelfPub; 2026

Аннотация

Я очутился в прошлом — в теле умирающего государя. Ещё вчера я проводил аудит крупных компаний, а сегодня получил страну, которая пожирает сама себя. Вокруг — казнокрады, интриганы и те, кто мечтает изжить правителя со свету.

Но я выживу, сломаю старые порядки, проведу реформы и построю сильную империю. Ведь теперь я — Пётр Первый.

Вот только сначала нужно не дать себя добить.

Содержание

Глава 1	4
Глава 2	17
Глава 3	30
Глава 4	47
Глава 5	61
Глава 6	75
Конец ознакомительного фрагмента.	82

Денис Старый

Завет Петра 2. Ревизия

Глава 1

Петербург

1 февраля 1725 года

— Что же мне с вами, мать вашу, делать-то? — тихо, но от этого еще более жутко произнес я. В моем голосе звучало искреннее, тяжелое сокрушение человека, доведенного до предела. — Отчего не живется и не служитя без грязи и предательства?

Мой тяжелый ботфорт безжалостно вдавливал в дубовый паркет лицо Андрея Ивановича Ушакова. Глава Тайной канцелярии, человек, чьего имени до икоты боялась половина империи, сейчас лежал мордой в пыли, жалобно суча ногами. Тяжесть моего сапога, давящего ему на шею, лишала его кислорода.

И в этот момент я не просто боролся с Гневом, у меня получалось словно договориться. Я дозированно давал выход эмоциям. Кроме того, от меня, наверное, сейчас столько “ароматов спокойствия” исходит, что иной приблизится и умрет мигот. И настойки валерианы Блюментрост дал и

пустырника накапал, что-то горькое скормил.

Вон... дегустатор мой уснул и теперь похрапывает на диване в моей новой комнате. Бедный, устал на рабочем месте.

Ну а как? Предположения, что меня могу травить не беспочвенные. Вот и этот черт великовельможный, на горло которого я поставил свою ногу, подтверждает наличие заговора. И полноватого, лысоватого, наверное даже страдающего диабетом дегустатора мне жалко и его не хочется унижать. А вот Ушакова — да... как собаку... в угоду собственному Гневу, рвущемуся наружу.

Я смотрел на Андрея Ивановича сверху вниз и впервые видел в его вытаращенных, налитых кровью глазах настоящий, животный, затравленный страх. Причем видел его не только я — человек из будущего, волею судьбы заброшенный в этот век, — но и мой предшественник, чье тело и память я сейчас делил. Ни в одной из жизней людей, сознанием которых я обладаю, Ушаков еще не проявлял таких искренних, отвратительно малодушных эмоций.

Куда делась вся его спесь палача? А эта уверенность в собственной непогрешимости и что он такой эксклюзивный персонаж рядом со мной?

— Всё норовите в окно, как воры ночные, пролезть, когда перед вами парадные двери настежь открыты! — процедил я, перенося еще немного веса на ногу. Ушаков сдавленно пискнул. — Служите вы верой и правдой своему Отече-

ству, служите государю честно — я всё увижу! В золоте ходить будете, в шелках, орденами осыплю! Так нет же, лезете в грязь...

Накипело. Ей-богу, накипело. Даже у меня — человека с ледяной выдержкой, привыкшего держать свои эмоции в железной узде. Казалось, что непробиваемая стена, что и руки можно опустить. А ведь я еще не вникал в систему управления на местах. Думаю, что это мрак...

Но, дай Бог здоровья, или понятия лекарям, что еще можно сделать с моей болезнью, дело принципа... Хочу поехать в условный город N Мценского уезда и показать ревизорам, как нужно не только проверять, но и налаживать работу. Хочу создать службу не просто фискалов, а тех, кто научит губернаторов и градоуправителей работать по новым лекалам.

Вот смотрю я на лежащего Ушакова и уже отчетливо понимаю, что он крыса, та, которая не особо задумается перед тем, как и руку хозяина укусить.

А еще крысы, загнанные в угол, в слепой ярости кидаются даже на самого матерого волкодава. Кидаются не для того, чтобы победить — это невозможно, — а в отчаянной попытке продать свою жизнь как можно дороже. И эти лощеные, увешанные орденами аристократы в бархатных камзолах сейчас ничем не отличались от тех подвальных крыс. Липкий страх гнал их на крайние меры.

К трем часам ночи я боролся уже не только со свинцовой тяжестью недосыпа, давящей на веки. Я боролся с диким,

первобытным желанием выжечь их всех каленым железом. Стереть эту скверну в порошок.

— С кем же я останусь, если каждому из вас по заслугам воздам?! — в сердцах, с горькой злостью бросил я в полумрак комнаты.

Проклятый кадровый вопрос. Извечная беда монархов. Мне жизненно необходимо было сохранять хотя бы иллюзию баланса между грызущимися у трона придворными группировками.

Мой современный разум анализировал прошлое этого тела. Одно дело, когда прежний Петр Алексеевич в приступе ярости рубил головы стрельцам на Красной площади. Там, с точки зрения политики, всё было примитивно: открытый бунт, пролитая кровь и старые порядки, за которые аристократия, по правде сказать, не так уж сильно и держалась. Сами по себе стрельцы тогдашней России были уже не нужны — отживший свой век рудимент.

Хотя, если смотреть с моей колокольни, приговоры те были чрезмерными и чудовищно нерациональными. Тысячи крепких мужиков пустили под топор! Да их бы в кандалы, да в Сибирь — рубить просеки, ставить остроги, расширять границы. Там бы им ничего не оставалось, кроме как кровью и потом отстаивать интересы державы. А их просто сгноили в земле.

Но случай с Ушаковым — это другое. Главу Тайной канцелярии нужно было убирать немедленно, вырывать с кор-

нем, даже если прямо сейчас мне некем заткнуть зияющую брешь в системе безопасности. И это в тот самый момент, когда шатающийся престол нуждается в тайном сыске более всего!

Я подпишу свой первый указ о казни. И дело тут было вовсе не в гуманизме или пресловутой монаршей жестокости. Дело было в холодном, математическом расчете. Я прекрасно понимал, как устроена любая система подчинения. Пусть это не государство в современном понимании, но любая крупная корпорация по своей структуре, жесткости и духу — точная копия империи.

Если в твоей компании есть топ-менеджер, который кажется незаменимым профессионалом, но при этом ведет собственную, неподконтрольную игру... Если этот бунтарь думает не о выживании корпорации — считай, державы, — а исключительно о собственной шкуре и выгоде... С такими управленцами нужно прощаться немедленно. Даже если это нанесет временный ущерб оперативности работы. Вырезать как раковую опухоль.

При любом антикризисном управлении я бы уволил такого безопасника в двадцать четыре часа, вышвырнув на улицу с волчьим билетом. Там это было бы просто: приказ, подпись, блокировка пропусков.

Вот только в реалиях Российской империи восемнадцатого века приказ об «увольнении» с такой должности заверяется не печатью в отделе кадров. Он подписывается топором

палача.

Я отвернулся от раздавленного Ушакова и посмотрел на преданного генерала.

— Генерал Матюшкин, — чеканя каждое слово, произнес я. В глазах моих больше не было эмоций — только сухая сталь приказа. — Повелеваю: немедленно поднять с постели Остермана. Взять две роты абсолютно верных мне солдат и галопом отправляться в Петропавловскую крепость.

Матюшкин вытянулся в струну, жадно ловя слова.

— Войти внезапно. Все бумаги, реестры и доносы Тайной канцелярии опечатать и изъять! Всех без исключения чинов ведомства Ушакова отстранить от службы до моего особого распоряжения. Твоими гвардейцами перекрыть все выходы, наладить охрану узников и взять на себя караульную службу. Никто не должен покинуть крепость без моего приказа. Остальных офицеров и солдат гарнизона разоружить и отправить под домашний арест по квартирам. Выполнять!

Видит Бог, я действительно хотел, чтобы Ушаков остался в моей обойме. Я давал ему шанс за шансом. Я сознательно закрывал глаза на то, что он был одним из главных палачей моего, точнее — петровского, сына, царевича Алексея.

Да, будем честны перед собой: самым главным палачом царевича являлся я сам — тот Петр, чью память и чье тело я сейчас унаследовал. Но идея арестовать самого себя, и уж тем более казнить за детоубийство, у меня, по понятным причинам, не возникала. За грехи прошлого Петра сейчас

должен был заплатить Ушаков.

— Простите, ваше величество... И не будет более верного и злого на врагов ваших пса рядом, – прохрипел Ушаков.

— Простить? А Меншикова не простил, а он многое рядом со мной прошел. Не чета всем вам, Данилович отслужил и бился так лихо... – я замолчал.

Еще немного и решусь снять обвинения с Меншикова. Наверное, я сейчас, как и Петр, злился, но находил все же благие поступки Александра Даниловича более важными, чем воровство. Ну да пусть выполнит волю мою и сдвинет с мертвой точки дела на Дальнем Востоке. Тогда и вновь приблизить его смогу.

Кстати... было бы интересно, чтобы рядом с Меншиковым ставить стажеров. Он, мол, ворует, по своему обыкновению, а стажер должен выявить, как именно происходит кража.

— П-прости... государь... — сипло прохрипел из-под моего сапога Ушаков. Пальцами он отчаянно скреб полированный паркет, пытаясь ослабить давление на горло. – Прости, заклинаю, молю! Пожелаешь, так стану Меншиковым при тебе, но полушки лишней не возьму.

— А Катькой? Катькой при мне станешь? – спросил я.

Но Ушаков не слышал меня. У него, по всей видимости, начиналась истерика.

— Прости! Прости! Богом Иисусом Христом молю....

— Простить?! — рывкнул я. Лицо мое исказила судорога. Воспоминания царя, живущие в моем мозгу, ударили в

виски болью. — Я даровал тебе возможность стоять рядом со мной! Быть «птенцом Петровым»! А ты... Смерти моего сына... Ты готовил ему приговор!

Я хрипел не хуже Ушакова. Мне физически не хватало воздуха. Гнев брал свое. Было такое ощущение, словно это не я держу сапог на его загривке, а мне самому приставили кованую пяту к горлу. Невыносимая фантомная боль от предательства сжигала изнутри.

Тело, которое мне досталось, отзывалось на эту вспышку Гнева жесточайшей слабостью, покорностью. Сердце колотилось о ребра, как птица в клетке. Не спать почти целые сутки, находясь в состоянии постоянного нервного истощения, — это пытка. Но я держался, будто бы смахивал подступающую пелену, туман, в котором можно было превратиться в зверя.

— Ты — не Меншиков, не Катька, которая родила мне дочерей и уже потому я ее не убью. Но ты в первые же дни супротив воли моей пошел. Так что... Завещание пиши. И коли не желаешь, кабы иные родичи твои пошли в след за тобой, то половину имущества своего отпишешь казне, — сказал я, все же убирая ногу с горла Ушакова.

— Государь, Остерман на меня наговорил? — вдруг осмелел бывший глава Тайной канцелярии.

Оставив Ушакова захлебываться кашлем на полу, я тяжело оперся рукой о стол. В покоях стояла звенящая тишина, но она не приносила покоя. Я вслушивался в каждый шо-

рох, в каждый скрип половицы за массивными дверями моей спальни.

Да, свою роль в окончательном моем решении арестовать Ушакова сыграл хитроумный Генрих Иоганн Остерман. Назначая этого лиса одним из счетоводов при описи конфискованного имущества Меншикова и Толстого, я не сомневался: Остерман не забудет и о втором моем поручении. Ему надлежало провести тайное следствие и выяснить, кто же именно помог сбежать из-под стражи Петру Толстому.

И тут хитрозадому Остерману дьявольски повезло. Перетряхивая людей из разбитого обоза Толстого, он выудил на свет божий забитого мальчишку-конюха. Пацан во время бойни спрятался под телегой. И сквозь перепачканные грязью колеса он своими глазами видел, — и уши его слышали! — как всемогущий Андрей Ушаков самолично, хладнокровно убивал своего же бывшего начальника по Тайной канцелярии.

Получив этот козырь, я действовал без промедления. В два часа пополудни я вызвал к себе генерала Матюшкина и приказал поднять гвардейцев. Задача: вычислить и уничтожить отряд гайдуков — тех самых цепных псов, которыми так активно пользовался Ушаков в своих тайных (а как оказалось, весьма топорных) делах. Судя по донесениям, в самом Петербурге этой банды сейчас не было. Но строящаяся столица империи и ее болотистые окрестности — это не бескрайняя тайга. Конный отряд вооруженных головорезов —

не иголка в стоге сена.

Матюшкин должен был их найти. Прижать к реке и разгромить. Мой приказ был жесток, но четок: «Брать языков. Живыми, но двух хватит. Остальных убить и все серебро с золотом, оружием и конями забрать в конфискат».

Это же сущий, немыслимый беспредел! Под боком у императорской резиденции рыщет банда вооруженных недоказов. Изначально термин «гайдуки» относился к казачьей гольтыбе, крестьянам, взявшимся за оружие. Но в Малороссии, как я успел убедиться, всегда хватало отморозков: дай им только коня, кривую саблю да пригоршню монет, и они готовы пустить кровь кому угодно. Да ладно... таких людей и в Великороссии было в достатке. Но на фронтире, украинах, боевитых и бандитских элементов всегда больше.

— Ты нарушил волю мою, — тяжело роняя слова в повисшую тишину, произнес я, глядя сверху вниз на поверженного главу Тайной канцелярии. — Ты освободил государственно-го преступника Толстого, а потом, заматаывая следы, сам же его и прикончил. Действовал по своему усмотрению, как удельный князек, заведомо понимая, что идешь супротив меня. Но судить тебя будут не за это. Судить тебя будут за то, что ты сына моего, наследника, сгубил.

Я пнул ногой под ребра Ушакова.

— Поднять эту падаль! — брезгливо приказал я гвардейцам, убирая ногу с шеи Ушакова.

Два рослых гренадера без церемоний вздернули обмяк-

шее, тяжело дышащее тело всесильного инквизитора на ноги. Ушаков пошатнулся, по подбородку текла слюна пополам с кровью из разбитой губы.

Пока его поднимали, я краем глаза пристально, не мигая, следил за стоявшим у дверей Степаном Апраксиным. Гвардейский офицер, моя охрана... и пасынок Ушакова. Испытание на верность в реальном времени. Стёпка стоял по стойке смирно, до хруста в костяшках сжимая эфес шпаги. Он откровенно, беззвучно рыдал. Слезы текли по его молодым щекам столь обильно, что капали на золотое шитье мундира, но он не смел даже поднять руку, чтобы их смахнуть. Преданность императору боролась в нем с любовью к отчиму, и он с ужасом смотрел, как рушится его мир.

— Ну, давай, Андрей Иванович, — мой голос зазвучал обманчиво тихо, но от этого холода мороз пробирал по коже. Я пододвинул к краю стола чернильницу и чистый лист плотной бумаги. — Пиши свои признания. Облегчай душеньку перед Богом и государем.

Решение было принято окончательно. Я не мог больше прощать.

— Ты сыграл, но проиграл. А нужно было не играть, а служить, — сказал я. — А теперь ты умрешь.

Я посчитал нужным бросить это ему в лицо напоследок. Пусть знает, на какой крюк я его вешаю. А затем я устало махнул рукой, словно сбрасывая со скатерти грязные хлебные крошки.

Гвардейцы подхватили Ушакова под мышки и поволокли к дверям. Его тяжелые ботфорты глухо заскребли по паркету, оставляя грязные полосы.

Когда тяжелые створки закрылись за арестованным, я перевел взгляд на Степана Апраксина. Гвардеец стоял у стены, белый как мел. Он то и дело хватался за эфес своей шпаги.

— Апраксин. Подойди ко мне, — негромко, но властно потребовал я.

Степан сделал несколько деревянных шагов и замер. В его глазах плескался животный ужас.

— Слушай меня внимательно, — я подался вперед, впиваясь взглядом в его лицо. — Слово. Полслова. Лишний вздох или тень дерзости в защиту твоего отчима — и ты пойдешь в застенки следом за ним. Тебе это понятно?

В комнате повисла мертвая тишина. Я слышал, как судорожно сглотнул Апраксин.

— Да... Да, ваше императорское величество, — выдавил он. Голос его дрогнул, сорвался на жалкий, надрывный сип, но он не отвел глаз.

В эту самую секунду, спасая свою молодую шкуру, он предал человека, который вырастил его. Человека, который вложил в него всю душу. Было сложно даже представить себе отчима, который любил бы приемного сына сильнее, чем Ушаков любил Степана.

Внутри меня что-то брезгливо сжалось. Я рассчитывал совершенно на иное. Если бы прямо сейчас Степан Апраксин

вскинул голову, если бы проявил хоть каплю офицерского благородства, вступившись за обреченного родственника... Если бы он не сдал его с такой пугающей, подлой легкостью — возможно, у него и был бы шанс закрепиться при моем дворе. Не в ближнем круге, но где-то рядом. Я уважаю верность.

Но гнилые люди, готовые перешагнуть через отца ради теплого места, мне подле трона не нужны.

— Поступишь в прямое подчинение к Александру Меншикову, — брезгливо бросил я. — Завтра же отправишься к нему в Сибирь. И будешь до конца своих дней делать в снегах то, что светлейший князь тебе прикажет. Пошел вон.

Я отмахнулся от него, теперь уже как от назойливой, жужжащей над ухом навозной мухи. Лицо Апраксина исказилось от ужаса — сибирская ссылка под тяжелую руку Меншикова была для столичного щеголя хуже каторги, — но он молча попятился к двери.

— Ну что там? — обратился я к оставшемуся Матюшкину. — Будет сегодня нападение?

— Не могу знать, ваше императорское величество, но живот свой положим, коли нужно, — ответил он.

Я же махнул рукой на выход. Нужно попробовать поспать. Завтра снова сложный день.

Глава 2

Петербург. Зимний дворец

1 февраля 1725 год

Ночь была полна теней. Как поведут себя заговорщики? Что прямо сейчас, в своих темных гостиных, решают Голицын, Долгоруков, Юсупов? Об этом оставалось только догадываться. Нет, я послал людей узнать. Я тестировал некоторых, считай что случайных людей, гвардейцев. Мало ли у кого-то получится что-то разузнать. Появился бы такой, чтобы занял место Тайной канцелярии и думал по-особенному, как еще не умеют в этом времени. Мне нужна разведка, контрразведка, да и политический сыск тоже необходим.

Как же так получилось, что я сижу в собственной спальне и жду нападения?

Мой разум лихорадочно просчитывал варианты, и среди прочих я отчетливо, с холодящей кровь ясностью, понимал: в любую минуту эта тяжелая дубовая дверь может распахнуться, и сюда войдут убийцы. Силовое устранение монарха — самый короткий и популярный путь к власти в этой стране. И я должен быть к этому готов. Пальцы крепко сжимали теплую рукоять заряженного кремневого пистолета.

— Да и табакерки на Руси уже в моду вошли, — мрачно пробормотал я себе под нос.

Это была горькая отсылка к будущему. В той, другой истории, которую я учил, тяжелой золотой табакеркой проломят висок моему правнуку, Павлу Петровичу. Ворвутся пьяные гвардейцы-заговорщики прямо в спальню и убьют.

— Нахрен. Запрещу табакерки во дворце указом, — нервно усмехнулся я в затухающие свечи в канделябре у окна. — А заодно нужно будет запретить и офицерские шарфы.

Моего внука, Петра Третьего, кажется, удавили именно так. Веселая у нас вырисовывается семейка.

— Ваше величество... вы меня звали? — вдруг раздался сиплый голос из угла.

Я вздрогнул и чудом не спустил курок. Мой личный дежурный, прикорнувший на коврике у печи, сонно хлопал глазами.

— Выспался, дармоед? — прошипел я, опуская ствол. — Иди прочь! Вон за дверь! Своим храпом императору думать мешаешь.

— Прошу простить, я не хотел... уснуть... премного...

— Иди уже! — отмахнулся я от него.

Оставшись один, я попытался лечь. Но сон не шел. Ноги начало крутить противной, тянущей болью. Причем словно огнем налилась именно та ступня, которой я давеча так эффективно прижимал к полу горло Ушакова. Словно бы слюна, которой брызгал арестант была с изрядной долей сильного яда.

Кстати, об анатомии. Забавный исторический факт: при

моем гигантском росте за два метра размер ноги у Петра Великого оказался до комичного крохотным. Тридцать восьмой, не больше! Впрочем, не мне с моим букетом болячек сейчас хвастаться, но ради исторической справедливости отмечу: размер ноги совершенно никак не влияет на размер другой, куда более важной мужской гордости. Ну вот вообще никак.

Я перевел дух и грязно, вполголоса выматерился, обнаружив, что кожаная емкость для мочи снова наполнилась под завязку. Чертова болезнь унижает похуже любых заговорщиков. Слив урину и кое-как приведя себя в порядок, я тяжело оперся на трость и пошел на выход из покоев.

В приемной тут же с грохотом повскакивали со стульев бравые гвардейцы и несколько пехотных офицеров, которых я надергал в свой личный караул.

— Вы что, стервецы, спать удумали? — не слишком злобно, скорее для порядка пожурил я свою хаотично набранную охрану.

Они вытянулись во фрунт и замолчали, поедая меня теми самыми лихими и придурковатыми взглядами, как я, по легенде, и завещал. Кстати! Я покопался в памяти Петра Алексеевича — и не нашел ни единого воспоминания об этом указе. Не говорил я такого, что «подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство». Скорее всего, это исторический анекдот более поздних вре-

мен.

Но фраза-то какая! Золотая. Надо будет обязательно издать такой указ официально, пусть потомки цитируют. Вот когда прием следующий устройю, а без этого никак не обойтись, и скажу подобное.

— Мне что, нужно зачитывать вам устав? — строго свел брови я, являя грозного командира. — О том, что пока одна часть несет караул, иные могут спать, но в полглаза, готовые по первому зову встать на защиту трона?

— Будет исполнено, ваше императорское величество! — рывкнули гвардейские глотки так, что, казалось, задрезжали стекла, а во дворце проснулись даже мыши.

Я поморщился от звона в ушах, махнул рукой и похромал дальше по темным коридорам.

В голове крутились планы. Гвардию нужно срочно преобразовывать. Преображенцы и Семеновцы зажрались, они почувствовали себя делателями королей. Нужно вводить систему противовесов, «контрполки».

Было бы неплохо создать лейб-кирасиров, лейб-казаков, а еще — перевести верный Лефортовский полк из Москвы в Петербург. Эти будут так довольны столичными привилегиями, что грудью встанут на мою защиту от любой гвардейской фронды. И еще нужны военные школы... Господи, как же много всего нужно сделать, а времени так мало!

Сколько мне Господь отвесил на “работу над ошибками”? Пять лет, десять? Хотелось бы лет так тридцать. Но с таким

“букетом” болезней... Так что времени тратить нельзя ну никак.

Тихо скрипнула дверь. Я шагнул в полумрак детской спальни. На кровати, свернувшись калачиком под тяжелым одеялом, лежал мальчик. Сын казненного царевича Алексея. Мой внук и единственный законный наследник мужского пола по прямой линии.

— Не притворяйся, Петруша, — негромко сказал я, тяжело присаживаясь на край кровати. — Вижу ведь, что не спишь.

Тень от единственной горящей свечи металась по стене. Мальчик под тяжелым бархатным одеялом вздрогнул, когда матрас просел под моим немалым весом. Он лежал спиной ко мне, сжавшись в комочек, и дышал слишком ровно, слишком старательно для спящего ребенка.

— Не притворяйся, Петр Алексеевич. Сказано же тебе, что вижу — не спишь, — тихо, стараясь смягчить свой хриплый голос, сказал я. — Как не убежать от разговора, как и я сам не желаю ворошить былое, но без этого нельзя. Ты мой наследник, мне тебе Империю передавать. Я повинен быть с согласия с тобой и учить, а ты учиться.

Одеяло медленно откинулось. Девятилетний Великий князь Петр Алексеевич повернулся ко мне. В его огромных, воспаленных от недосыпа глазах плескался такой первобытный, животный ужас, что у меня перехватило дыхание. Он смотрел на меня не как на деда. Он смотрел на меня как на

чудовище. Как на медведя, который вломился в его шалаш. Как на палача.

Можно сколь угодно играть в интриги, казнить и миловать, но только взрослых мужей. А вот этот мальчишка, с поломанной судьбой, за что получил удар?

Петруша судорожно подтянул колени к подбородку, натягивая одеяло, словно щит. А еще он стал оглядываться. Явно искал сестру Наталью. Великое влияние девка имеет на парня. Интересно, осознает ли уже эту силу? Впрочем... замуж. И все влияние.

— Я... я выучил французские глаголы, — пискнул он срывающимся, тонким голоском. — И Псалтырь читал... Я не шалил, государь... Не велите бить... Не загубите, как батюшку мого, я в послушании буду.

У меня внутри всё оборвалось. Мой современный разум, знающий толк в детских травмах, и память Петра, полная державной жестокости, столкнулись, высекая искры боли. Боже мой. Что эти стервятники — Меншиков, Остерман, воспитатели — сделали с ребенком? Они же превратили его в забитого, невротичного зверька, каждую секунду ждущего удара хлыстом. Что же сделал я, Петр Великий? Моя же кровинка...

Я отложил трость. Медленно, чтобы не напугать его еще больше, протянул свои огромные, узловатые руки и осторожно, самыми кончиками пальцев, коснулся его плеча. Мальчик крупно вздрогнул, зажмурился, ожидая пощечины.

Или замуж Наталью не отдавать? Рядом с ней Петр ведет себя куда как более решительно. Или просто решить психологическую проблему? Все же детская психика гибкая, еще можно исправить и настроить парня. Тем более, что похоже именно меня он так до одури боится, но рядом с сестрой готов даже и мне бросить вызов.

А так парень, конечно, скверно образован и не дисциплинирован, но с характером, точно.

— Петруша... — мой голос дрогнул и вдруг предательски сломался. — Плевать мне на твои французские глаголы. Плевать. Я не за тем пришел.

Он приоткрыл один глаз. В нем читалось недоверие. Взрослые в его мире всегда лгали. А этот гигант с дергающейся щекой — лгал страшнее всех.

— Я знаю, кем ты меня считаешь, — я сглотнул тугой ком в горле, глядя прямо в его испуганные глаза. — Знаю, что тебе шепчут по углам. Знаю, кого ты видишь, когда я вхожу. Убийцу твоего отца.

Петруша побледнел так, что стал сливаться с белизной подушки. Покусывая дрожащую губу, он начал тараторить заученную, вбитую в него розгами формулу:

— Светлейший князь Меншиков сказывали... батюшка мой, царевич Алексей, был изменник и вор... и супротив короны шел... и поделом ему...

— Замолчи! — вырвалось у меня.

Мальчик всхлипнул и закрыл лицо руками.

— Прости, прости меня... — я тяжело сдвинулся ближе, почти наваливаясь грудью на кровать. Слезы, о которых я, казалось, давно забыл, вдруг обожгли глаза. Это плакал не только современный человек, это плакала искореженная душа самого Петра Великого. — Не смей повторять эту ложь, Петруша. Никогда. Меншиков — вор и собака. А твой отец... твой батюшка...

Я задохнулся. Как объяснить девятилетнему ребенку геополитику, государственные интересы, паранойю, пыточные камеры Петропавловки? Да никак. Потому что для ребенка есть только одно: его папу убили.

— Твой батюшка был моим сыном, — прошептал я, и по моим небритым, впалым щекам покатились горячие капли. — Я строил корабли, рубил города на болотах, а как отца родного для Алешки... меня не было. Я упустил его. А потом испугался за свое государство больше, чем за свою кровь. Ты учись, старайся. И тогда я не упущу тебя.

Угроза... это была скрытая угроза от меня. Но может мальчуган будет столь мотивирован, что науки станет поглощать. Он способный, об этом мне уже докладывали. Нужен только наставник с правильным подходом, чтобы интересно было. Ну и я, как время свободное будет...

Я взял маленькие, холодные ладошки мальчика и силой отнял их от его заплаканного лица. Прижал его руки к своим губам.

— Император Петр судил изменника. Но дед твой... и отец

твой... совершили страшный, непростительный грех. Я убил часть самого себя, Петруша. И каждый день, каждую ночь я вижу его глаза. Такие же, как у тебя.

Мальчик перестал дрожать. Он смотрел на меня во все глаза. Он никогда в жизни не видел, чтобы взрослые плакали. Тем более — чтобы плакал грозный, железный император, перед которым на коленях ползали фельдмаршалы. Детская психика, настроенная на фальшь, мгновенно распознала абсолютную, голую искренность. В этот момент перед ним сидел не государь. Перед ним сидел раздавленный горем, старый и больной дед.

— Не будем больше ошибаться. Так? — я погладил взъерошенные волосы мальчишки. — Будь опорой трону, а я защищу и тебя и Наташу.

Детское сердце, изголодавшееся по любви, не выдержало. Искусственные барьеры рухнули.

Лицо мальчика исказилось. Он вдруг отчаянно, по-детски, с надрывом расплакался. Не тихо, как плачут привыкшие к побоям сироты, а громко, в голос. Он рванулся вперед, выпутавшись из одеяла, и тонкие детские руки судорожно, мертвой хваткой обвилились вокруг моей шеи. Он уткнулся мокрым носом мне в колючий воротник мундира.

— Дедушка... дедушка... — захлебываясь слезами, лепетал Великий князь, прижимаясь ко мне худеньким, дрожащим тельцем. — Не умирай, дедушка... Они меня съедят! Они меня обижают! Меншиков меня бьет, когда ты не ви-

дишь! Не оставляй меня одного! Они вырождаком меня называли. Они плевали мне под ноги. Убей их! Они смутили тебя, как Наташа говорит, ты не виновный.

Я обхватил его своими ручищами, прижимая к груди так крепко, словно пытался защитить от всего мира. Я гладил его по всклокоченным волосам, целовал в макушку и укачивал, покачиваясь из стороны в сторону, как это делают все нормальные родители.

— Никому не дам тебя в обиду, — хрипел я сквозь собственные слезы, чувствуя, как бьется его маленькое сердце о мою грудь. — Я за тебя, внучек, любому глотку перегрызу. Я жить буду, слышишь? Я тебя править научу. Я тебя защищать научу. Ты у меня никому кланяться не будешь...

Мы сидели так очень долго. Император и его наследник. Два самых одиноких человека в России. Быть императором — это дар? Нет, — ярмо, порой и такое тяжкое, да с шипами, что одного и хочется, чтобы скинуть его. А нельзя, ибо у каждого свое ярмо, свой крест.

И мой современный разум в тот момент подумал: к черту мануфактуры. К черту гвардейские полки и школы. Настоящее спасение Российской империи начинается не с приказов и не с золота Меншикова. Оно начинается прямо сейчас. С того, что я просто обнял своего внука.

Скоро я вернулся в спальню. Петру нужно отдыхать, завтра начнется серьезная учеба его и вместе с Наташкой, так как с ней это совсем иной ребенок. С ней вместе он будет

учиться.

Вновь оставшись один, я тяжело, как подрубленное дерево, рухнул в кресло.

Специфическая мутная жидкость в кожаной емкости, закрепленной у меня под камзолом на поясе, унижительно забулькала. Опять...

Как же всё это омерзительно. Я откинул голову на бархатную спинку кресла и прикрыл глаза. Ощущение, что я — гниющий овощ, привязанный к золотому трону, не отпускало. Никакие заморские примочки, никакие вонючие мази не давали твердой уверенности, что болезнь точно отступает.

Да, кризис вроде бы миновал. Диких, выкручивающих наизнанку резей больше не было. Буквально перед сном лекарь Блюментрост прочистил канал зондом и, преданно глядя мне в глаза, на голубом глазу божился, что государь идет на поправку. Убеждал, что скоро я смогу облегчаться естественным образом. Смердящего гноя действительно больше не было, хотя мутная сукровица всё еще сочилась.

Но эта постоянная, липкая, высасывающая душу слабость... Мое существование превратилось в бесконечный марафон на одних только морально-волевых качествах. И это начинало пугать. Какое-то время можно тащить на себе империю, стиснув зубы, но когда это длится неделями... Ресурс организма не бесконечен.

Отчаяние дошло до того, что сегодня вечером в покои императора Всероссийского приволокли какого-то деревенско-

го деда-шептуна.

Это была настолько абсурдная, гротескная и унижительная картина, что, дай Бог мне выжить, я буду вспоминать ее в приступах истерического смеха.

Полубезумный седобородый мужик, пропахший воском, немытым телом и луком, обвешанный медными крестами, как елочная игрушка, стоял на коленях у моего ложа. Меня обложили потемневшими иконами, а этот старый хрыч, крестясь, что-то жарко и бессвязно нашептывал прямо моему больному детородному органу. Что именно он там бормотал — теперь было известно только ему одному и той самой несчастной части моего тела. Договорились ли?

Мой современный разум, запертый в черепе Петра, кричал от стыда и сюрреализма происходящего. Это было так дико, так первобытно и неправильно...

Но я лежал неподвижно и терпел. Ибо ради того, чтобы выжить и удержать эту империю над пропастью, я был готов использовать всё. Даже крестьянские заговоры.

Я никогда не верил в метафизику. Точнее, не верил в прошлой жизни. Но когда твое сознание просыпается в измученном теле русского императора, совершив немыслимый скачок на триста лет назад сквозь ткань времени... Рациональный мозг начинает давать сбои. Если ты понимаешь, что абсолютно невозможное уже произошло с тобой, волей-неволей начнешь допускать, что и другие немыслимые явления существуют. И старик-шептун уже не кажется таким уж бре-

дом.

— Позовите Грету, — хрипло бросил я в полумрак дежурному гвардейцу.

Внезапно, на фоне этого дикого нервного истощения, у меня появилось непреодолимое, почти детское желание чего-нибудь сладкого. Чего-нибудь теплого, домашнего. Словно весточки из того, безвозвратно утерянного будущего.

— Какао мне сделай. И принеси, — потребовал я, когда заспанная, но миловидная немка появилась на пороге спальни.

— Простить меня, мин херц... Я не понять, — растерянно заморгала Грета, поправляя на груди наспех накинутую шаль.

— Напитка шоколадного, — терпеливо, как ребенку, принался объяснять я. — Измельченных какао-бобов. Сварить вместе с молоком. И только сахара туда много не сыпь, приторного не хочу. Поняла? Исполни.

Странно, ведь какао уже должны пить в Европе.

Грета поклонилась и юркнула за дверь — на дворцовую кухню. Сейчас там пылали печи: кухня работала круглосуточно, так как я приказал сытно кормить усиленные наряды гвардейцев, стоявших в ночных караулах.

Неужели зря сегодня собрал людей и ждал атаки? Зря ли сейчас парни мерзнут на подходах к Зимнему дворцу в засаде? И, наверное, сильно перестраховался я. Но береженого Бог бережет. Ведь бережет же?

Глава 3

Петербург. Зимний дворец
1 февраля 1725 года

Откинувшись на подушки, я прикрыл воспаленные глаза. Мозг, разогнанный стрессом, отказывался спать, цепляясь за любые идеи. Сколько же всего — полезного и не очень, при-быльного и просто приятного — можно принести в этот ди-кий мир!

Взять тот же шоколад. В этом времени его еще не знают в плитках. Даже в самых изысканных дворцах Европы его либо пьют, либо максимум — густо поливают жидкой массой пирожные.

А ведь если вспомнить химию процесса... Изобрести пресс для какао-масла, поэкспериментировать с желатином или пектином, темперировать массу. Можно создать устой-чивый, твердый шоколад! И особых знаний тут не нужно, только немного опытов.

Фасовать после его в изящные коробки с двуглавым ор-лом и продавать в ту же Голландию или Францию. Уверен, при дворе Людовика такое лакомство пойдет на вес золота. Монополия на роскошь! Ах, да... картон еще нужно изобре-сти, или конфеты фасовать в деревянные коробочки, распи-санные под гжель.

Или картошка... Из-за своей чертовой болезни мне сейчас предписана строжайшая диета. Я и так делаю непозволительное допущение с этим какао. Но, судя по всему, в скором времени мне придется публично пожертвовать диетой и показательно, на глазах у бояр, с аппетитом есть картофель.

И не ради пользы для собственного желудка. И даже не для того, чтобы ощутить вкус детства. А память об этом вкусе резанула по нервам так остро, что свело скулы: я вспомнил, как мои бабушка с дедушкой, плевав на все правила «здорового питания», каждое утро жарили умопомрачительную картошку на чугунной сковородке. Скворчащее масло, золотистая корочка, сладковатый запах жареного лука, и в самом конце — щедрая ложка деревенской сметаны... Вредно, конечно. Но как же дьявольски вкусно. С квашеной капусткой, сдобренной мелко порезанным лучком и капелькой пахучего подсолнечного масла. Это был вкус покоя. Вкус безопасного мира, наряду с бабушкиными оладьями и пышными сырниками.

Но ведь картошка — это такой антикриз в сельском хозяйстве, который жизни спасает и нации формирует. Вон, ирландцы как некогда выросли численно на картофеле! Правда никогда не стоит класть яйца в одну корзину. Чтобы не случилось, как с теми же ирландцами — голод от потери урожая картофеля.

Так что еще предстоит мне подумать, как внедрять картошку и не только ее.

Я криво усмехнулся в темноту. Да, я пока не могу одним махом вычистить эти Авгиевы конюшни и вывезти весь тот политический навоз, который смердит на самой верхушке русской власти. Заговорщики ждут моей смерти. Но ведь ничто не запрещает мне прямо сейчас закладывать фундамент! Думать о мелочах, из которых потом вырастет серьезнейшее экономическое могущество империи.

Голландцы сколотили свое богатство на банальной селедке! Разве Россия не может найти продукты, которые подсадят на себя Европу? Та же черная икра. Консервы... Хотя с консервами пока туго: прокатной жести надлежащего качества в этом мире еще нет. Придется думать со стеклом и сургучом.

За тяжелыми окнами, в промозглой петербургской мгле, слышались резкие гортанные команды и мерный стук сотен сапог по брусчатке. Сперва я подобрался.

— Началось? – спросил я пустоту и открыл окно.

В комнату тут же ворвался морозный воздух. Я чуть высунулся и посмотрел, что происходит. Поймал себя на мысли, что даже немного разочарован. Нет... это не нападение.

Разводили утренние караулы. Это значило, что ночь кончилась. Пришло время просыпаться.

А я так и не сомкнул глаз.

Дверь тихо скрипнула. Грета внесла на серебряном подносе исходящую паром кружку.

Я сделал глоток. Жидкость была жирной, комковатой, с

резким горьковатым привкусом.

— Это, конечно, не совсем то, что я хотел... — пробормотал я. — Потом научу и подскажу. Вообще много буду подсказывать по кухне, что и как готовить.

Но всё же выпил горячее варево до дна. Напиток оказался тяжелым, сытным, заменившим мне то ли завтрак, то ли ужин. Когда не спишь сутки напролет, границы между приемами пищи стираются, как и границы реальности.

Я поставил пустую кружку на столик. Посмотрел на переминающуюся с ноги на ногу Грету.

— Раздевайся, — хрипло приказал я.

Немка вскинула брови, затем игриво улыбнулась. Привычным, заученным движением она потянулась к шнуровке платья, скидывая с себя одежду.

Я смотрел на ее белую кожу в неровном свете свечей и думал о том, что она зря так предвкушающе улыбается. Того, чего она ожидает — бурной монаршей страсти, — не произойдет. Разве что этот безумный дед с крестами, нашептывавший вчера заклинания моему детородному органу, действительно совершил библейское чудо. В чем я сильно сомневался.

Причина была в другом. Мое желание просто лечь, закрыть глаза и прижаться к живому, теплему человеческому, обязательно женскому, телу я цинично прикрывал важным государственным расчетом.

Дело в том, что меня, императора Петра Великого, при

дворе считали не просто любвеобильным. Моей похотью, как барометром, мерили мою политическую и физическую силу. Вся столица жадно следила за тем, скольких фрейлин я зажимаю по темным углам дворца и как часто приглашаю служанок к себе в спальню.

Если в покоях государя перестанут шуршать женские юбки — стервятники решат, что Акела промахнулся. Что царь окончательно слег. И тогда заговоры вспыхнут с новой силой.

Поэтому пусть Грета ляжет со мной. Пусть утром дворцовые сплетники разнесут весть, что император по-прежнему горяч. А мне... мне просто нужно было немного тепла, чтобы дожить до рассвета и не сойти с ума от одиночества.

Умные не поверят, зная о моей болезни, дурням же думать не нужно, только однозначно принимать к сведению. Но немощный царь — это как надломленная система управления державой. Но вот сильный и тот, кто служанку разложит — это сильный, свой, с которым не стоит спорить.

Пусть Грета выйдет из моей спальни помятой, с растрепанными волосами и блуждающим взглядом. Дворцовые шаркуны тут же начнут шептаться по углам: «А государь-то наш ночью бабу мял! Никак на поправку идет!». И этот шепоток разлетится быстрее любого манифеста.

— Петр вернулся, — вот такие шепотки я хотел слышать.

Стервятники поймут: нечего надеяться, что в ближайшие дни Петра Алексеевича снова накроет смертельная хворь. А

раз царь в силе, значит, нужно засучить рукава и делать вид, что усердно работаешь на благо отечества. Ибо если сами не начнут работать, Петр заставит. А как он умеет заставлять — помнят еще со времен стрелецких казней.

Вот такую нехитрую психологическую комбинацию я выстроил в голове. Почему бы не показать себя вновь могучим жеребцом, тем более что это не стоит мне ровным счетом никаких усилий?

— Скажешь всем, что у меня с тобой всё получилось. И что я был зело горяч, вопреки болезни, — тихо приказал я, прижимаясь озябшим телом к теплой, мягкой и какой-то домашнему уютной, изрядно полноватой немке.

Я собирался уснуть в своей любимой, привычной позе: тесно прижавшись к женщине со спины и по-хозяйски положив ладонь ей на грудь. Однако... пришлось со вздохом отстраниться и неловко перевалиться на другой бок, осторожно перекладывая кожаную емкость для отвода мочи.

И тут я замер.

Уж не знаю, что там нашептал моему естеству этот безумный смердящий дед с иконами, или, может, наконец-то подействовали лошадиные дозы лекарств Блюментроста, но я вдруг отчетливо понял: болезнь не сделала меня импотентом!

Внизу живота разливалось забытое этим организмом тепло, и определенные физиологические процессы, пусть и с легкой, тянущей болью, но имели место быть.

Мужики, которые когда-либо в жизни сталкивались с подобными проблемами, поймут меня без лишних слов. Порой осознание того, что эта часть твоего тела снова оживает и начинает жить собственной жизнью, приносит больше эйфории, чем самая громадная премия от начальства или покупка новенького автомобиля из салона.

Я выдохнул сквозь стиснутые зубы. Жить будем!

Засыпал я с крепкой верой в будущее. С надеждой, что теперь-то всё у меня будет хорошо.

Утро, ну или уже дело к обеду было, ударило по нервам лязгом оружия и тяжелым запахом чужого страха. Я уже не спал. Достаточно было часов трех сна. Днем еще посплю, но пока некогда. Сюрпризы новый день принес еще те...

— Ну, будет тебе, будет! Пошел вон! — я брезгливо дернул ногой, вырывая сапог из судорожных объятий князя Долгорукова.

Мне было физически неприятно смотреть на то, как омерзительно унижается этот человек. Он стоял передо мной на коленях, елозя расшитым золотом камзолом по паркету. Долгоруков! Рюрикович! Человек, чья родовитость, если копнуть старые родословные, будет подревнее и повыше моей, романовской.

Для меня, человека из будущего, эта знатность не значила ровным счетом ничего. Но ведь он — человек своей эпохи! Он прекрасно осознает древность своей крови, помнит

всех своих великих предков. И при этом сейчас этот спесивый аристократ ползает у моих ног, роняя слезы, и целует пыльные носки моих ботфорт. Тьфу, мерзость.

— Простишь ли меня, государь?! Оставишь ли меня в чинах моих?! Не тронешь ли ты сына моего Ваньку и родственников всех моих?! — надрывно, пуская слюни, вымаливал прощение князь.

Оказалось, что еще до рассвета, под покровом промозглой петербургской мглы, Долгоруков тайно прибыл ко дворцу. И не один. С ним пришли сразу пятнадцать тяжело груженных телег золота и серебра.

Меня не стали будить. И генерал Матюшкин, надо отдать ему должное, всё сделал правильно: он умудрился скрыть визит князя от чужих глаз. А когда Долгорукова вели в мою почивальню, гвардейцы расчистили путь, грубо вытолкнув всех ранних просителей из приемной.

Одно было жаль: эта секретность была инициативой самого перепуганного Долгорукова, а не оперативной задумкой Матюшкина. В очередной раз я убедился, что не стоит ставить этого генерала во главе Тайной канцелярии.

Матюшкин — отличный служака, великолепный исполнитель и, скорее всего, неплохой полководец уровня дивизии. Но мыслит он слишком прямолинейно, по-солдатски рублено. Для начальника тайной полиции, главного паука империи, мне нужен человек совершенно иного склада ума. Интриган, способный видеть на пять ходов вперед.

Я сел в кресло, скрестил руки на груди и с холодным любопытством посмотрел на рыдающего князя.

— Скажи мне, князь... — протянул я негромко. — А каково это — предавать своих соратников? Тех, с кем ты еще вчера корону мою делить собирался?

Долгоруков вскинул опухшее, красное лицо.

— Так верность вам, государь мой, проявляю! Да родичей своих от плахи спасаю! Ваше императорское величество... Вы же сами давеча изволили сказать: кто миллион в казну привезет и покается искренне, тому прощение выйдет! И взирали при этом на меня, — сказал он.

— И я от слов своих не отказываюсь, — отрезал я. — Хотя, холоп ты мой, гложут меня смутные сомнения. Как же это ты так быстро, за одну ночь, ажно целый миллион живыми деньгами сыскал? Здесь, в Петербурге? При том, что главные вотчины твои у Твери да у Москвы находятся.

Я смотрел на него взглядом профессионального аудитора, и у меня волосы шевелились на затылке от понимания масштабов воровства. По нынешним меркам миллион рублей — это не просто много. Это катастрофически, немыслимо много!

Я всё больше убеждался, что не до конца отдаю себе отчет, чем именно сейчас является экономика Российской империи. Сколько там Россия заплатила шведам по Ништадтскому миру за уступку Ингерманландии, Эстляндии и Лифляндии? Чуть меньше полутора миллионов рублей! И огромная

империя не смогла выдать эту сумму разом, платила шведам частями, скрипя зубами, выгребая медь из казны. А тут один-единственный боярин за ночь достает из-под матраса сумму, равную стоимости большей половины отвоеванных у Швеции земель!

— Ваше императорское величество... — Долгоруков судорожно сглотнул, пряча глаза. — Там нету миллиона покуда. Там на телегах шестьсот пятьдесят тысяч ровно... Но я уже отрядил верных людей, скачут во весь опор, дабы оставшееся привезли! А здесь... так я же дом новый, каменный, у Невы собирался строить. Вот и перевез сюда часть своей домашней казны для расходов...

Домашней казны. Для расходов на домик. Я едва не расхохотался в голос от этой чудовищной наглости.

Но я предполагал, что всё сработает именно так. Я бросил им жирную, страшную кость. И первым за нее вцепился этот старый стервятник. Он предал всех своих подельников по заговору, притащил в истощенную казну Российской империи колоссальное вливание и теперь умоляет об одном: чтобы я никому не рассказывал, что он уже сдал всех с потрохами.

Весьма весело — и дьявольски полезно для моей страны — будет, если и другие высокопоставленные заговорщики, не зная о визите Долгорукова, сейчас грузят свои телеги золотом, спеша опередить друг друга.

— Уходи с глаз моих долой. Оставляй Вотчинную коллегию. Найду я кого, кто распределением земли займется. И

прознаю о заговоре, всех под нож... — я посмотрел князю в глаза. — Всех... Ты меня знаешь... Стрелецкий бунт вспомни, если усомнился.

Долгоруков ушел и мне сообщили, что прибыл Дмитрий Михайлович Голицын.

— Деньги! — холодно потребовал я от Голицына.

Я едва сдерживал мстительную усмешку. Князя Дмитрия Михайловича я принимал сразу после того, как выпроводил Долгорукова, повелев тому мчаться в Москву за недостающей суммой, а сыночка его, Ваньку, оставив при дворе. В качестве залога, разумеется.

Господи, как же разжирили эти вельможи! Ну куда тебе, старый ты хрен Голицын, столько денег? Солить ты их, что ли, в бочках собрался? Или на тот свет, к праотцам, в карманах бархатного камзола утащишь?

Я, конечно, и раньше догадывался, но сейчас моя профессиональная чуйка аудитора просто ревела сиреной: Россию, как и в некоторые другие смутные времена, тупо раздербанили между собой человек двадцать. Не больше! Элита, мать их.

Но у этих двадцати упырей по сундукам скоплены такие колоссальные средства, что мое бедное, истощенное войной Отечество могло бы пару раз полностью перезапустить экономику, со свистом встав на совершенно иные технологические рельсы. Индустриализацию можно начать завтра, если их встряхнуть!

Ну и программа нужна, масштабный бизнес-план со стратегическим планированием. Даешь пятилетки! И ведь есть с кем все это начинать. Есть Нартов и его школа инженеров-розмыслов, есть и другие изобретатели. Имеются и деятельные люди, которые заводы умеют открывать. Прокофий Демидов, Василий Татищев, хотя то, что я знал о последнем — он еще та скотина. Но ведь заводчик талантливый.

— Ваше императорское величество... Да я и в мыслях не держал в эдаком участвовать! — елеиным, дрожащим голосом запел князь. — Я к вам пришел предупредить, рассказать расклады, дабы вы понимали... Я, старый пес, завсегда на стороне самодержца стоял!

— Ты бы, князь, не брехал, как та дворовая собака попусту, — оборвал я его.

Я шагнул к нему вплотную. Наклонился так близко, что при желании мог бы просто с размаху долбануть его лбом по аристократическому носу.

Но вот в мой нос мне тут же ударило тяжелое, спертое дыхание Голицына. Мелькнула неуместная мысль: надо срочно подумать, чем в этом веке зубы чистить. Изобрести какую-то пасту, порошок... А то общаться вплотную решительно невозможно. Смердит изо рта у всех поголовно, от конюха до светлейшего князя.

— Я доподлинно знаю, — чеканя слова, глядя ему прямо в расширенные зрачки, произнес я, — что ты и есть самый главный рассадник крамольных мыслей. Спишь и видишь,

дабы власть мою императорскую урезать. Желаете через Совет верховников, или как у англичан ихний парламент, страшной вместо меня управлять?

— Ваше императорское величество... Так я же с повинной пришел! Как вы давеча и говорили! — многомудрый Голицын явно растерялся. Его утонченная политическая игра дала трещину от столкновения с моей прямолинейностью.

Я смотрел на него с легким презрением. В сущности, он был всего лишь кабинетным теоретиком. Философствующий аристократ. В отличие от его брата, фельдмаршала Михаила, этот Голицын, Дмитрий Михайлович, мог бы иметь для державы какое-то значение в мирное время. Но вот какое именно — я пока не понял. Актив неочевидный. А значит — легко конвертируемый в наличность.

— Деньги! — повторил я с нажимом. — Или вместе с Ушаковым пойдешь на плаху за соучастие в убийстве сына моего, царевича Алексея.

Глаза князя полезли на лоб.

— Помилуйте, государь! Разве ж я его...

— А будешь ты, — ласково, почти нежно пообещал я. — Знаешь ли ты, князь, древнее выражение «козел отпущения»? Вот ты, многомудрый мой, и подумай. Из таких вот изменщиков-теоретиков я сейчас отличных козлов делать буду. И шкуры на барабаны пушу.

Голицын поник. Вся его спесь, вся аристократическая осанка куда-то испарились, обнажив испуганного, жадного

старика.

— Тысяч двести... двести тысяч рублей я, может, по сусекам и наскребу, ваше величество, — унылым, упавшим голосом проблеял он.

— Миллион, — припечатал я, наслаждаясь моментом.

И, выдержав паузу, с садистским удовольствием добавил контрольный выстрел:

— Долгоруков свой миллион уже внес.

О, это надо было видеть! Картина маслом. Было чертовски любопытно наблюдать за тем, какую невероятную гамму чувств явил мне на своем престарелом, покрытом морщинами лице Дмитрий Михайлович Голицын. В одну секунду там яркой вспышкой пронеслись шок, осознание подлого предательства соратника по заговору, старческая жадность и панический ужас внезапного банкрота.

— Вот же курва! — громоподобно, напрочь забыв об аристократических политесах, выдохнул старик.

— Ну не более, чем ты, как оказалось, — я с каким-то нехорошим чувством маньяка наслаждался ситуацией.

По мне — так просто отлично. Пусть эти пауки в банке перегрызут друг друга. Долгоруков первым предал их высокоинтеллектуальную компашку, и это прекрасно.

— Я соберу, ваше величество. Коли позволите, дайте сроку мне на то три года, — опустив голову, как безвольная кукла, пробормотал первый политический теоретик нынешнего времени.

Тот самый, чьи помыслы были направлены на создание в России хоть какого-то парламентаризма.

Идея о том, что должен быть создан некий Верховный совет, где «многомудрые» мужи решали бы сложные задачи управления державой, в теории выглядела не так уж и плохо. Даже наоборот — это пошло бы на пользу, если бы их умы действительно работали на благо России. А не на то, чтобы крыситься между собой и думать о собственном благополучии больше, чем о государственном.

Но то, что кто-то будет неподкупным и еще и талантливым управленцем — утопия. Соберутся такие вот верховники и станут тянуть одеяло на себя, дербаня остатки России. И это не предположение — это суровая правда и закон.

Не сказать, что я такой уж фанатичный приверженец самодержавия, готовый цепляться за него руками и ногами. Но я, как человек из будущего, твердо знаю: каждому историческому периоду и каждому этапу экономического развития должен соответствовать свой государственный строй.

Там, в мое время, при высочайшем развитии производственных сил, сферы услуг и массовых коммуникаций, единоличный самодержец, пытающийся в ручном режиме решать все проблемы государства, смотрелся бы дико и неэффективно. Но здесь, в первой четверти восемнадцатого века, я в упор не вижу системы управления лучше, чем жесткое самодержавие. С приставкой «просвещенное», разумеется.

Сейчас как воздух нужна молниеносная скорость принятия решений. Нужна абсолютная централизация власти для мобилизации всех ресурсов. Народу нужен своего рода суровый батюшка, родитель, — точно так же, как любой неграмотной пастве нужен непререкаемый пастырь. Иначе эта империя просто развалится под тяжестью собственных противоречий.

— У тебя что-то еще, Дмитрий Михайлович? — холодно спросил я, замечая, что Голицын мнется и не уходит, словно не все слова еще сказаны.

— Прошу тебя, государь... дабы измена моя не сказалась ни на семье моей, ни на родичах, — всё так же понутив голову, выдавил старик.

— За каждым из Голицыных теперь будет глаз да глаз, — отрезал я. — Я слежу за вами. А Тайная канцелярия — пусть Ушаков и оказался дурным руководителем — никуда не денется. Она существует и укрепляться будет. Ступай, холоп Димка!

Последние слова я выплюнул как оскорбление и с силой ударил тяжелой тростью о паркет. Так я этот пол скоро окончательно доломаю.

Князь вздрогнул, низко поклонился и попятился к выходу.

Оставшись один, я глубоко задумался. На кого же мне теперь поставить? Кого назначить первым казначеем, министром финансов? Судя по всему, свободных денег у меня

сейчас будет даже больше, чем я рассчитывал в самых смелых антикризисных планах.

К примеру, прямо сейчас в казну непрерывным потоком везут золото и серебро уже из Ораниенбаума — одного из роскошных дворцов Меншикова. Семейство Толстых в данный момент тоже вдумчиво и методично вытряхивается моими гвардейцами до исподнего.

И это была прямо-таки гениальная кадровая находка — поставить самого Александра Даниловича Меншикова, пусть временно и неофициально, моим главным фискалом и вышибалой долгов! Старый казнокрад знает все схемы, знает, кто, где и сколько прячет. Загнанный в угол светлейший князь сейчас рвет своих бывших поделельников на куски, спасая собственную шкуру, а казна империи пухнет на глазах.

— Ваше императорское величество, — обратился ко мне Василий Суворов. — Господин генерал доверил мне испросить, будете ли вы готовы выйти к полкам? Выстроены все по набережной Невы и вокруг Зимнего.

— Выйду... вот Блюментрост проведет нужные лечения и выйду, — сказал я.

Очередное испытание. Но они столь частые и плотные, что я начинаю привыкать. Но вот соболиную шубу в этот раз я одену, не стану демонстрировать стойкость к морозам. А то завтра слягу уже окончательно. А у меня планов громадье. Мне и десяти лет мало будет для их реализации.

Глава 4

Петербург

1 февраля 1725 года

Погода сегодня откровенно благоволила моим замыслам. С самого рассвета небо над Петербургом прорвало, и на город обрушился густой, тяжелый снегопад. Крупные хлопья неспешно кружили в морозном воздухе, укрывая грязные мостовые, недострой и стылую невскую воду чистым, первозданно-белым саваном. Как раз думал о том, что выезжать к войскам нужно на санях. Вот и навалило, чтобы без пробуксовок катиться.

Коммунальщики, как это частенько бывало и в моем родном будущем, на расчистку улиц выйти «забыли». Видимо, для подобных служб во все времена снег в первых числах февраля — это внезапный и абсолютно непредсказуемый феномен природы.

Я усмехнулся своим мыслям, плотнее кутаясь в тяжелую соболью шубу. Ни в памяти моего исторического реципиента, ни в том, что я уже успел лично узнать об этом времени, не значилось хоть сколько-нибудь специализированной хозяйственной службы. Дворников в новой столице только-только начали повсеместно ставить, да и тех катастрофически не хватало на эти промозглые, продуваемые ветрами

проспекты. Так что не стоило бы грешить на генера-губернатора столицы. Тем более, что скоро у меня с ним запланирована встреча. Есть что предложить этому интересному во многих смыслах человеку.

Холодно, ноги должны утопать в снеге даже на мостовых, но сегодня этот снежный плен был мне только на руку.

Кабриолетов в императорском «гараже», по понятным причинам, не водилось. Сесть верхом в седло я бы сейчас не смог при всем желании — измученное болезнью тело взбунтовалось бы от первого же толчка. Да и как-то... в прошлой жизни лишь несколько раз в седле сидел. Тут бы и без болезни не стал конфузиться.

Мне бы лежать на мягких перинах да пить отвары, но время — роскошь, которой у меня больше нет. Поэтому выбор пал на широкие, тяжелые сани. Да запряженные настоящей, норовистой русской тройкой, обещавшей ту самую, воспетую в веках быструю езду, что по душе каждому русскому — самое то для эффекта.

Я расположился в санях прямо у крыльца Зимнего дворца. Сиденье щедро выстелили медвежьими шкурами и бархатными подушками. Но была в этом экипаже одна деталь, добавленная лично по моему приказу: крепкий, обтянутый кожей металлический поручень, намертво прикрученный к переднему борту. Точно такой же, за который держатся министры обороны, принимая парады Победы на Красной площади в Москве моего будущего. Я собирался стоять перед

своими войсками, а не растекаться по сиденью больной развалиной. И этот поручень был моим якорем.

Из-за пелены снегопада начали выныривать темные силуэты. Адьютанты и вестовые. Рядом со мной образовался целый отряд, числом больше чем

— Передайте эти бумаги всем командирам полков, — мой голос прозвучал глухо, но достаточно властно, чтобы заставить их вытянуться во фронт. Я махнул рукой на стопку перевязанных суровой ниткой свитков — ровно двадцать копий моего личного обращения к армии. — Пусть немедленно зачитывают солдатам и офицерам.

Я сделал паузу, обводя офицеров тяжелым, не терпящим возражений взглядом.

На набережной Невы, по Невской перспективе, у Зимнего, собрались все. Все полки и команды, которые квартируют в Петербурге и в двадцати верстах вокруг него. Полковникам было доведено, как мне докладывали, что если кто из офицеров вдруг не явится на этот общевойсковой смотр по «нездоровью» или предстанет пред мои очи в неподобающем виде — будут приняты меры, вплоть до разжалования.

Получив бумаги, гонцы бросились врассыпную, скрипя сапогами по свежему снегу, а я откинулся на спинку саней, прикрыв глаза.

То, что петербургские трактиры, как и те, что стоят на трактах на подъезде к городу, сейчас забиты пьющим офицером, мне уже доложили. Доносчиков хватало. И я прекрас-

но понимал, что увижу через пару часов. Помятые, опухшие со сна лица, перегар, наспех натянутые мундиры. Рядовым творить такой беспредел не по чину, а вот «благородия» расслабились, почуяв скорую кончину старого императора.

Я криво усмехнулся. Я ведь не просто так ношу в голове современный опыт. Я тянул срочную службу, месил кирзачами грязь, потом и купленными за свой счет в военторге берцами, когда, почувствовав непреодолимый позыв, пошел и на контракт. Это было еще до того, как моя гражданская карьера поперла в гору, до того, как я прогремел кризис-менеджером, вытащившим из глубочайшей финансовой ямы крупную корпорацию, которую тогда согласованно и безжалостно душили конкуренты.

Опыт кризисного управления и армейская школа слились во мне в единое понимание одной простой истины: гниет всегда с головы. Если офицер позволяет себе непотребство, заливая глотку вином вместо службы, то и его солдаты быстро найдут, чем неподобающим заняться. Сходить в самоволку, выменять амуницию на сулею мутного самогона — это же прямо-таки обязательный душещипательный квест для любого лихого парня, еще не осознавшего всю тяжесть государственной службы. Дисциплина — это не устав. Это страх, помноженный на уважение. И сегодня я собирался внушить им и то, и другое.

Я ждал. Морозный воздух обжигал легкие.

Вскоре тишину заснеженной площади начали рвать рез-

кие, лающие звуки. Это строились полки. Сначала вдалеке, затем всё ближе и ближе зазвучали надрывные, сорванные голоса офицеров. Они орали на пределе голосовых связок, стараясь перекрыть ветер и звон оружия, зачитывая мое воззвание.

— «...Нет более почетной службы, чем армейская и флотская! — донеслось справа мощным басом какого-то капитана. Эхо отбилося от стен Зимнего дворца. — Нет более богоспасаемой службы, чем ваша!»

Тут же слева, немного отставая, подхватил другой, более молодой голос, дрожащий от напряжения:

— «...Вы опора державы! Вы защитники тех, кто сеет хлеб, кто кует железо на заводах и мануфактурах!»

Слова падали в морозный воздух тяжелыми гириями. Я слушал, как этот идеологический каток проходится по рядам.

— «...Вы суть есть воинство Архангела Гавриила! Вы — защитники русской державы и Пресвятой Богородицей хранимые, как Отечество наше!..»

По мере того как в разных концах площади и прилегающих улиц вспыхивали всё новые и новые голоса чтецов, нестройный гул толпы стихал. Над закованными в сукно шеренгами повисала звенящая, напряженная тишина, в которой эхом разносился только текст моего манифеста. Я смотрел на падающий снег, положив руку в тяжелой рукавице на свой железный поручень.

Пора. Сейчас они увидят своего императора. И они его не забудут.

Армию нужно было взбодрить. Встряхнуть так, чтобы у них зубы лязгнули. В этом суровом, пропахшем порохом и конским потом времени нет ни телевизоров, ни радио, ни интернета, чтобы запустить нужный нарратив в массы. В восемнадцатом веке, чтобы донести правду и утвердить свою власть, нужно являть себя воочию. Власть здесь — это плоть, кровь, сталь и громкий голос. Нужны слова.

Я зябко повел плечами, и тело тут же отозвалось глухой болью. Мало того, что на мне была тяжеленная соболья шуба, давящая на плечи пудовым грузом. Под её густым мехом на моем измученном теле скрывался бахтерец — настоящий боевой доспех, искусно сплетенный из стальных колец и начищенных пластин.

Я не питал иллюзий. И уж точно не был идиотом, чтобы выезжать к вооруженной, наэлектризованной, весьма разношерстной публике с голой грудью. К публике, добрая половина которой еще вчера радостно потирала руки, предвкушая мое вечное упокоение и дележку империи.

Более того, даже под высокой меховой шапкой у меня прятался шлем. Его с огромным трудом отыскивали где-то в пыльных арсенальных подвалах Петербурга. Принесли какого-то откровенного уродца — железную полусферу (кажется, мисюрку без бармицы), — но она на удивление плотно села на мою относительно небольшую голову. Пусть нелепо, зато, ес-

ли из толпы прилетит шальная пуля или камень, у меня будет шанс не закончить свою вторую жизнь так же стремительно, как она началась.

Я вслушивался в голоса чтецов, разносящиеся над заснеженной площадью. Когда они дошли до финальных, самых важных абзацев манифеста, я крепче сжал железный поручень саней.

— Вперед! — резко бросил я кучеру.

Коротко свистнул кнут. Лошади рванули, полозья с хрустом вгрызлись в свежий, нетронутый снег. Сани плавно, но мощно выкатились из-за угла дворца прямо к замершим шеренгам.

Мы приближались к позициям Семеновского лейб-гвардии полка. Синие мундиры с красными отворотами четко выделялись на фоне белой пелены. Над строем стояло облако пара от дыхания сотен крепких глоток. И по мере нашего приближения зычный рык полкового командира, зачитывающего финал моего воззвания, становился всё отчетливее:

— «...А те, кто по недомыслию или злему умыслу получил иудины деньги за бунт супротив законного престолонаследия, те деньги обязаны вернуть в казну с повинной головой! Кто же не брал посулов грязных, либо с честью от них отказался — тот награду государеву получит сполна! Но всем вам, без изъятия, будут выплачены недостающие жалованья! Вся просроченная казна! И с государевой надбавкой за то, что сроки выплат по вине воровских чиновников давно про-

шли!...»

Слова били по строю, как картечь. Я видел, как расширяются глаза солдат, как переглядываются офицеры.

В этом был мой главный, холодный расчет. Тех, кто поддался на уговоры заговорщиков, нужно было наказать — но не виселицей, а рублем и страхом разоблачения. Показать, что бунтовать даже после мнимой смерти императора — дело крайне убыточное и опасное. А вот тех, кто остался верен присяге, кто не поперся давеча к Зимнему дворцу пьянствовать и горланить, требуя возвести на трон Екатерину — их нужно было возвысить. И таких, как докладывали мои люди, оказалось больше половины.

Пусть в следующий раз крепко подумают своими деревянными лбами, прежде чем спешить присягать той, кто никаких исторических и законных прав на этот престол не имеет. Какая, к черту, императрица из бывшей портомой Марты Скавронской? Да, я, мой предшественник, не огласил завещание (с которым, признаться, сам был в корне не согласен), но по всем законам логики и крови наследовать империю должен был мой внук — юный Петр Алексеевич. Им нужна была стабильность, а не бабье царство под управлением вороватого Алексашки Меншикова. Пусть бы он и грамотный черт, опытный, но все равно. Никаких полудержавных властелинов!

Сани медленно катились вдоль замершего строя семеновцев. Сотни глаз, в которых мешались страх, недоверие и

вспыхнувшая надежда, следили за мной.

Гвардия свое жалованье получала относительно исправно, это я знал. Ну разве же задержка в полгода — это по местным меркам серьезно? Шучу, конечно. День в день! И только так!

А вот армейские пехотные полки сидели без гроша месяцами. Мое обещание погасить все долги было не просто уступкой — это был хук справа по всей воровской бюрократии. За это солдаты будут искренне молиться Богу о моем здравии.

Но главное скрывалось в последнем абзаце воззвания. Моя личная инновация. Мой привет коррупционерам из двадцать первого века.

Я объявил на всю империю, что отныне любая просрочка по выплате жалованья больше чем на месяц будет караться пеней. Добавочными деньгами. И эти проценты я собирался брать не из тощей государственной казны, а вытрясать лично из карманов тех чиновников, интендантов и губернаторов, кто был ответственен за выдачу.

Я прекрасно знал, как это работает. Вовремя не заплатил, придержал армейскую монету, пустил её в оборот, отстроил себе каменные палаты, скупил землю — прокрутил средства. Эти ушлые дельцы в камзолах и париках умели мутить финансовые схемы даже без наличия банков. Что ж, господа казнокрады. Теперь правила игры меняются. Украл у солдата? Плати свои, кровные, из собственного имения. Да с процентами.

Я чуть приподнялся, опираясь на поручень, гордо вскинул подбородок и впился тяжелым взглядом в глаза стоящего правофлангового гренадера. Тот судорожно сглотнул, но взгляда не отвел.

Система координат в империи только что поменялась. И армия должна была это почувствовать первой.

Я от природы люблю цифры и систему. И в моем родном времени, и здесь, в заснеженном восемнадцатом веке, любому здравомыслящему управленцу должно быть кристально ясно: если ты задерживаешь выплаты людям с ружьями, ты не экономишь казну. Ты покупаешь себе пулю. Там, где кончается жалованье, мгновенно начинается брожение, а служба начинает нестись из рук вон плохо.

Государство — это механизм. И работает он только тогда, когда шестеренки смазаны. Только то государство, которое держит свое слово, и только тот император, который сказал — как топором отрезал, могут рассчитывать на лояльность. Я ни на грош не верил в мистическую «сакральность» императорской власти. Для меня монарх — это высший менеджер, первый и главный служащий своему Отечеству, нанятый историей. Вот только озвучивать эти крамольные мысли здесь, под хмурым петербургским небом 1725 года, было смерти подобно. Понятия в этой эпохе были совершенно иными, и ломать их нужно было постепенно. А что-то так и вовсе не трогать.

Я глубоко вдохнул морозный воздух, обжигая легкие, еще

крепче вцепился в металлический поручень и заставил себя выпрямиться в санях во весь рост. Шуба и кольчужный бахтерец давили на плечи, но я стоял ровно.

— Здравия желаю, господа гвардейцы! Офицеры, унтер-офицеры и нижние чины! — мой голос, усиленный стылым воздухом и каменными стенами дворца, полетел над замершим строем.

Тысячи глаз впились в меня. Они ждали трупа. А увидели закованного в сталь и меха исполина.

— Вот, решил посмотреть на вас воочию! Себя показать! — я чеканил каждое слово, делая долгие паузы, чтобы это успело разнести фразы до задних рядов. — И не верьте никому — слышите? — никому не верьте, кто скажет, что государь решил оставить вас! Рано меня хоронят! Впереди у нас много свершений. И тот, кто будет стоять в строю рядом со мной, тот безмерно возвысится! Да будет прощен за грехи свои прежние, вольные и невольные. Ибо стоять на страже Отечества нашего и престола — великая честь и богоугодное дело!

Едва отзвучало последнее слово, как в дело вступила домашняя заготовка. Моя личная, привезенная из будущего политехнология.

В разных концах толпы гвардейцев, куда уже успели проникнуть офицеры и солдаты роты почетного караула, как бы стихийно, заранее расставленные агенты из моей личной охраны — луженые глотки, отобранные за мощный бас, —

гаркнули в серое небо:

— Виват Император!

Это было привычно. Но следом они ударили новыми, неслыханными доселе лозунгами, прошивая толпу нужными мне нарративами:

— Виват Отечество и русский народ! Да славится Вера православная и Россия как Третий Рим!

На секунду над площадью повисла жуткая, звенящая тишина. Я даже испугался, что в общем шуме и ветре эти сложные словесные конструкции просто растворятся, что солдаты не поймут, к чему это. Ведь гвардия привыкла просто рычать одно короткое «Виват!».

Но расчет на стадный инстинкт оказался ювелирным. Солдаты услышали непривычные слова о «русском народе» и «Вере». И когда до них дошло, что государь обращается не просто к войску, а к нации, площадь взорвалась.

— Виват!! Виват!!! Виват!!!

Психология толпы — материя темная, на которую социологи моего времени извели тонны бумаги. Но одно я знал точно: если в вооруженной массе вспыхивает искренняя, первобытная радость, она распространяется как степной пожар. Этот экстаз захлестнул даже тех офицеров, которые еще минуту назад хмуро просчитывали, как бы перебежать в лагерь Меншикова. Если только они не были в курсе, что Алексашка не на дыбе, или еще не четвертован только лишь потому, что для него есть важное поручение.

Они орали на разрыв голосовых связок. Красные лица, пар из сотен разинутых ртов, взмывающие в воздух треуголки. Мороз давил под минус десять, а то и ниже, ветер мел колючую крупку, и я с мрачной иронией подумал: завтра треть петербургского гарнизона не сможет даже шепотом доложить о произошедшем. Сорвут глотки к чертовой матери.

Но я не собирался ограничиваться одним лишь весельем, раздачей долгов и дешевым популизмом. Чем бы я тогда отличался от того же Светлейшего князя Меншикова, который сейчас судорожно скупал лояльность гвардии за золотые червонцы из казны? Деньги и слова — это пряник. А толпе, особенно вооруженной, нужно было показать еще и безупречный, стальной кнут.

Я коротко кивнул.

Из-за моих саней, чеканя шаг так, что дрожала промерзшая земля, синхронно, как единый многоголовый организм, выдвинулась Особая рота почетного императорского караула. Указ о ее создании я собирался подписать сегодня же вечером. Это был мой личный спецназ, будущий вышколенным по методикам будущих эпох. Я сам дрессировал их последние дни, сидя в глубоком кресле и безжалостно прохаживаясь своей тяжелой тростью по хребтам тех, кто посмел бы сбить ритм или замешкаться при выполнении команд.

Возглавляли этот монолитный строй двое: командир роты, майор Петр Салтыков, и его заместитель, жилистый, въедливый капитан с цепким взглядом — Василий Суворов.

Едва мои сани сдвинулись с места, продолжая объезд площади, особая рота, сверкая примкнутыми багинетами, молча, пугающе слаженно развернулась в боевой порядок и клином врезалась в пространство перед Семеновским полком, оттесняя толпу и беря периметр под абсолютный контроль.

Гвардейцы-семеновцы, на секунду осекшись от удивления перед этой невиданной строевой машиной, расступились. И в этот момент каждый солдат на площади кожей почувствовал: перед ними не просто выживший после болезни старик. Перед ними совершенно новый, пугающий и безжалостный порядок вещей.

“Пряник” был озвучен. Теперь же наступала черед и “кнута”.

От автора:

История попаданца в наполеоновскую эпоху, от самодельной лупы до первого в России оптического прицела. От беглого подмастерья до поставщика Двора ЕИВ.

<https://author.today/reader/486964/4626117>

Глава 5

Петербург

1 февраля 1725 года

Особая рота действовала с ледяной, хирургической безжалостностью. Суворовцы, а мне очень хочется называть этих солдат именно так, не обращая внимания на недовольный гул, прямо из строя выдергивали всех солдат и офицеров, чей вид оскорблял понятие воинского устава.

Некоторые из этих горе-воjak выглядели настолько непрезентабельно, что не могли даже стоять прямо — товарищам приходилось подпирать их с двух сторон плечами, чтобы те попросту не рухнули лицами в утоптаный снег. И дело было вовсе не в благоговейном трепете, внезапно размягчившем гвардейские кости при виде «воскресшего» императора. Банальный, смердящий кислым вином недосып и тяжелейшее похмелье.

А многих в строю попросту не оказалось. И теперь по списочным составам командиры батальонов обязаны были головой отчитаться перед Салтыковым за каждую мертвую душу. Вот их, если только не будет подтверждена уважительная причина отсутствия, уволить из рядов. Ну а если выйдет так, что кумовство уже привело к зачислению младенцев в ряды гвардии, чтобы после, при совершеннолети, отпрыск

оказался уже офицером в высоких чинах.

Майор Салтыков работал быстро, выборочно сверяя лица с бумагами. В гвардейской среде, где все варятся в одном котле, вычислить отсутствующих не составляло труда. Особенно первых полковых заводил и завсегдатаев кабаков — их Салтыков брал на карандаш мгновенно.

Штрафников конвоировали прочь. Их уводили за чугунную ограду сада Зимнего дворца и сгружали там. Тех, чьи ноги окончательно отказали, усаживали на деревянные лавки. Эти удобства появились в Петербурге совсем недавно, исключительно благодаря стараниям генерал-полицмейстера Антона Девиера — человека жесткого и исполнительного, крайне серьезный разговор с которым был вписан в мой сегодняшний график. Те же из пьяных, кто еще мог стоять на ногах, продолжали вертикально страдать, навалившись грудью на свои фузеи.

Кстати, об оружии. Явились они, как и положено, при полном параде, со стволами. Но я еще с вечера отдал строжайший приказ командирам: лично проверить каждую лядунку и каждый ствол. Ни единой унции пороха. Ни единой свинцовой пули. Оружие на этой площади сегодня должно было оставаться лишь декорацией. Я не собирался ловить грудью шальной выстрел от спятившего с перепоею или подкупленного прапорщика.

Оставив позади очищенный, приведенный в чувство Семеновский полк, мои сани медленно покатались дальше.

Ситуация, практически слово в слово, повторилась у позиций лейб-гвардии Преображенского полка. И то, что я подъехал к ним во вторую очередь, не было случайностью. Это был мой осознанный, расчетливый щелчок по их непомерному гвардейскому самолюбию. Ибо больше всего из тех, кто орал Катьку на престол, были именно любимчики. Вот и пример в действии поговорки: не твори добра, не получишь и зла.

Сани остановились. Я смерил тяжелым взглядом застывший передо мной лес зеленых мундиров и красных отворотов.

— Почему вторыми стоите ведаете?! — мой рык, усиленный звенящим морозом, ударил по их рядам прежде, чем они успели крикнуть приветствие. — Почему вы сегодня — вторые?!

Я выдержал паузу, наблюдая, как по шеренгам пробегает нервная дрожь.

— Вы! Те, кто не дрогнул, кто со знаменами и честью ушел из-под Нарвы, когда прочие бежали как трусы! Вы, кто первыми ворвался на стены крепости Ниеншанц! Вы, кто навсегда прославил себя в крови Полтавской баталии!.. — я бил их их же славой, смущал и радовался тому, что большинство явно ведь стыдились. — Вы, старейший полк гвардии, всегда стояли первыми! Всегда первыми встречали врага лицом к лицу! Так задумайтесь же, сукины дети, чем вы занимаетесь теперь?!

Я наклонился вперед, перенеся вес на железный поручень.

— Достойны ли вы и дальше служить императору?! Или же следовало бы прямо сейчас сорвать с вас мундиры и разжаловать вас из гвардии в простой армейский полк да послать подальше?! Многие из вас, еще даже не дождавшись моего последнего вздоха, вопреки здравому смыслу и воле Божией, уже возжелали посадить на престол жену мою! Нерадивую изменщицу! Откровенную чухонку и немку, не любящую Россию и не понимающую ее!

Я рубил фразами наотмашь. И я видел, как эффект от этих слов накрывает площадь. Многие ветераны-преображенцы, седые усачи, чьи груди были увешаны медалями, виновато понурили головы. Им было по-настоящему стыдно. Значит не все потеряно. Но немало преображенцев отправится с Меншиковым в Сибирь. Пусть своей службой доказывают, что они гвардия, а не сибариты, которые могут только жить прошлым и считать, что имеют право лакать вино, да ногами двери открывать, что все им должны. Гвардия или воюет, подтверждая свою элитарность, или это не гвардейцы.

— Простите ваше величество! – голосом рыдающего мальчишки, эмоционально, выкрикнул один из гвардейцев.

Наверняка из тех, кого сразу после моего общения с гвардией выведет Салтыков. Да он уже, как та гончая насупился и наметил курс. Это его полк, он тут знает каждого. Он уже и сам стыдился, что так вот вышло.

Глядя на них, я вдруг остро осознал феноменальную раз-

ницу эпох.

В этом времени любые слова воспринимались совершенно иначе. Они имели вес, плотность, вкус. В моем будущем у нас всех в крови гуляла врожденная прививка от лжи и пафоса. Там информации было столько, что она превратилась в белый шум, в котором вычленить правду было критически сложно.

Люди из двадцать первого века давно разучились верить словам. Чтобы зацепить толпу там, пропагандистам, политтехнологам и откровенным врагам государства приходилось изгаляться в создании яркой, шокирующей картинки, вирусных видео и фейков. Слово там обесценилось.

Начни я толкать такую речь на корпоративном совещании, половина менеджеров слушала бы вполуха, уткнувшись в смартфоны, а кто-нибудь на заднем ряду и вовсе дал бы храпака — потому что задолбала бессмысленная говорильня.

Меньше слов – больше дела! Вот такой лозунг я использовал в своем прошлом-будущем. Но сейчас мне нужно пересматривать некоторые свои ценности и принципы.

Здесь, в морозном воздухе 1725 года, всё было по-другому. Мои слова, не искаженные экранами и фильтрами, падали на благодатную, девственную почву. Они ввинчивались прямо в их умы. Я говорил — и они слышали каждую букву. Они верили мне. Они чувствовали все послы, что я хотел донести до людей.

И эту абсолютную, магическую власть живого слова я собирался использовать на полную катушку.

Два часа. Два изнурительных, выматывающих душу и вымораживающих кости часа мне понадобилось для того, чтобы объехать все выстроенные на площади полки. Каждым сказать слово, каждого обнадеежить...

— Перемены будут в армии. Узрите после, какие. Но рекрутчины на всю жизнь я не желаю более. Мы пойдем своим путем, служить не всю жизнь и выйдя из армии получить достойную жизнь, дабы славить и после величие Отечества нашего, — говорил я.

Но сущность реформы, которая уже изложена на бумаге, я объявлять не стану. Не должны такие вот величайшие изменения исходить только от меня. Ответственность нужно бы размазать. Например, на Сенат тоже.

Скоро мне приходилось сдерживать себя, стискивать зубы так, что сводило челюсти, чтобы не выдать охватившей тело слабости. Моя «карательная машина» во главе с майором Салтыковым застряла где-то на двух третях пути, методично процеживая ряды, пока я уже заканчивал личное общение с каждым подразделением.

Положение было крайне шатким. Учитывая то, что еще до рассвета, едва придя в себя, я приказал срочно подвести к столице Первый Новгородский и Первый Ладожский пехотные полки, Петербург сейчас напоминал пороховой погреб. Относительно небольшой городок, прорезанный каналами и

застроенный в лучшем случае наполовину, был до краев забит вооруженными людьми. Вспыхни сейчас хоть искра, начнись настоящий бунт — и меня бы просто смели. Растоптали бы сапогами в кровавое месиво прямо в этих санях и даже не заметили.

Но пока всё шло по моему сценарию.

— Виват Император! — иступленно прокричал один из гвардейцев моей личной охраны, неотступно следовавший за санями.

Его крик резанул по ушам. Я машинально скользнул взглядом правее, туда, где напротив выстроенных солдат и офицеров чернел глубокий овраг. Там не стояло ни одного солдата. Место было глухое, заваленное горами строительного мусора, мерзлыми бревнами и битым кирпичом — обычная картина для вечно строящегося Петербурга. Спрошу еще за такую бесхозяйственность.

И тут мой мозг, натренированный в иных, будущих войнах, мгновенно выцепил из пейзажа аномалию.

Снег. Чистый, нетронутый снег на склоне оврага был продавлен. Явно читалась цепочка глубоких следов. И не замело... а ведь часа три назад только закончился обильный снегопад. Но вели следы не со стороны набережной, как если бы туда просто забрел зевака, а тянулись из густых зарослей кустарника и строительных завалов. Кто-то пробирался сюда не по нормальной дороге, а скрытно преодолевал бурелом, камни и мерзлую землю, чтобы выйти на идеальную пози-

цию.

Инстинкты сработали быстрее мыслей.

Я резко крутанулся на сиденье, разворачиваясь к оврагу боком, инстинктивно прикрывая плечом и левой рукой проекцию жизненно важных органов.

— Ствол на три часа! — рявкнул я современным мне из будущего тактическим сленгом, который эти люди в принципе не могли понять.

Сам же начал стремительно падать на дно саней, укрываясь за толстыми дубовыми досками борта.

Но тело — это измученное, прогнившее от болезней тело пятидесятидвухлетнего, может и старика вовсе — предательски дало сбой. От резкого движения левую ногу свело стальной судорогой. В паху вспыхнула такая ослепительная, режущая боль, словно туда вогнали раскаленный гвоздь. Разум на секунду помутился. Вместо четкой команды изо рта вырвался какой-то нечленораздельный, хриплый звериный рык.

— Бах!

Тяжелый, раскатистый грохот кремневого ружья разорвал морозный воздух. Краем затуманенного глаза я успел заметить грязное облачко сизого порохового дыма, выплюнутое из-за нагромождения мерзлых досок.

— Бах! — тут же ударил второй выстрел.

Тот самый гвардеец, что секунду назад воодушевленно орал «Виват!», сработал безупречно. Как учил. Причем

только ведь инструктировал всего, еще не тренировались. Не раздумывая ни мгновения, он рванулся наперерез траектории выстрела, раскинув руки и закрывая меня своей широкой спиной.

Смерть прошла рядом. Первая тяжелая свинцовая пуля со злым воем пронеслась чуть выше моей головы — если бы я не рухнул на дно саней, она бы разнесла мне грудную клетку вместе с хваленым бахтерцом. С хрустом выбив щепу из деревянного задника саней, пуля ушла в «молоко».

А вот вторая нашла цель.

Раздался влажный, чавкающий удар свинца о плоть. Гвардейца, закрывшего меня, страшно крутануло на месте. Тяжелопулевой удар отбросил его на несколько шагов в сторону, и он рухнул на истоптанный снег бесчувственным, окровавленным кулем.

На площади повисла секундная, оглушительная тишина. А затем всё взорвалось.

Не дожидаясь истеричных команд своих офицеров, весь строй Первого Новгородского полка с яростным ревом сломал шеренги и лавиной ломанулся к оврагу, прямо на пороховой дым. Сотни разъяренных солдат с примкнутыми багнетами жаждали разорвать стрелков на куски.

— Живьем брать!! — из последних сил, срывая глотку и борясь с накатывающей темной пеленой обморока, прохрипел я. — Брать живьем!!

В этот момент солнце для меня окончательно померкло.

Огромная туша второго телохранителя обрушилась на сани. Охранник, выполняя свой долг, просто прыгнул сверху, намертво придавив меня своим телом и медвежьей шубой ко дну экипажа. Он всё сделал абсолютно правильно, по инструкции. И ведь ни разу не пробовали подобное отработать.

Но от его спасительного веса и без того адская боль в паху и сведенной ноге умножилась вдвое, окончательно погружая мой разум во спасительную тьму.

— Держаться... Держаться! — шептал я сам себе сквозь намертво стиснутые зубы.

Во рту стоял металлический привкус крови — видимо, падая, я прикусил губу. Я изо всех сил старался прогнать багровый туман, который густыми волнами застилал глаза и закручивал внутри черепа тошнотворные вихри.

Упасть сейчас, провалиться в спасительное забытие было нельзя. Категорически. Если армия решит, что меня убили, всё рухнет в ту же секунду. Потом, когда я очнусь (если вообще очнусь), придется заново доказывать, что я жив, что власть в моих руках. А что, если от этого ледяного падения и чудовищного стресса сейчас вспалются все спящие болезни моего реципиента, и я всё-таки подохну по-настоящему?

Меня прошил озноб, не имеющий ничего общего с петербургским морозом. Ещё никогда в жизни я так отчаянно, так яростно не хотел жить. Я ведь только-только начал расставлять фигуры на этой гигантской шахматной доске! Я только

начал строить планы по перекройке России, я проникся ими до глубины души. Я хотел вытянуть эту империю, решить колоссальные проблемы, оставленные тяжелым, великим, но не всегда последовательным правлением реального Петра.

И тут — смерть от куса свинца из-за куста? Нет. Не дождетесь.

В моей прошлой, сытой жизни менеджера из двадцать первого века не было таких первобытных эмоций. Я никогда не ощущал ничего подобного. Теперь же ответственность за судьбы миллионов людей ложилась на мои плечи бетонной плитой, заставляя цепляться за жизнь, дышать и бороться вопреки законам физиологии.

Придавленный тяжелой тушей охранника, я с невероятным трудом смог чуть вывернуть шею. Правая сторона лица вмерзла в медвежью шкуру на дне саней, но левым глазом сквозь щель между досками борта я уловил рваную динамику происходящего.

Овраг кипел. Сквозь завывание ветра пробивался яростный, многоголосый рев солдат Первого Новгородского, гнавших двух стрелков.

Убийцы имели все шансы уйти сперва по стройке, потом дворами и затеряться в других многочисленных недостроях. Но ледяной хаос петербургских задворков сыграл за меня. Один из беглецов, неловко прыгнув, споткнулся о вмерзшее в землю бревно или кучу кирпичного лома. Он рухнул, нелепо перекувырнувшись через голову, взметнув фонтан снеж-

ной пыли. Второй инстинктивно, всего на какую-то долю секунды, обернулся к товарищу. И эта секунда стала для него фатальной. Он потерял темп. Критически много времени, чтобы раствориться в зарослях.

— Живьем брать! Не убивать! — надрывался кто-то из офицеров охраны совсем рядом с моими санями.

Но это было тщетно. Сквозь узкую щель я видел, как волна разъяренной пехоты захлестнула фигурки убийц. Мелькнули приклады фузей, взлетели штыки. Я с глухим отчаянием понимал, что этих мерзавцев прямо сейчас рвут в кровавые клочья на грязном снегу. Никаких шансов на выживание. Никакой возможности кинуть их в пыточные подвалы Тайной канцелярии и вырвать имена заказчиков. Концы рубились прямо на моих глазах.

Прошла минута. Затем вторая. Дым от выстрелов развеялся, уносимый ветром к Неве.

— Слезь с меня... а то я так быстрее убьюсь! — прохрипел я, с трудом высвободив руку и наотмашь, несильно, но акцентированно ударив гвардейца, лежащего на мне пластом.

Удар привел его в чувство. Он дернулся, тяжело закричал и начал медленно подниматься. Встав в санях в полный рост, он резко развернулся лицом к толпе, загораживая меня своей широкой грудью и даже нелепо растопылив в стороны руки — словно эта поза могла остановить новый залп, если бы в кустах засел кто-то третий.

— Слушай меня, — я вцепился пальцами в его сапог, за-

ставляя наклониться. Говорил я сдавленно, каждое слово отдавалось болью в ребрах: — Кричи... Кричи на всю площадь, что я жив. Что сама Богородица спасла меня вновь... Что ты видел неземной свет рядом с санями... Понял? Кричи!

Гвардеец, бледный как полотно, с безумными глазами, выпрямился, набрал в грудь морозного воздуха и заорал не своим, страшным, срывающимся на фальцет голосом:

— Жив!! Император жив!! Матерь Божья отвела пулю!! Свет!! Свет неземной заслонил государя!!! Чудо!!! – нарабатывал себе повышение в чине гвардеец.

Его вопль ударил по площади, мгновенно парализовав начинающуюся панику.

А я в это время начал свой собственный подъем на Голгофу. Одной рукой вцепившись в спасительный железный поручень, другой с силой вдавливая в дно саней мягкие бархатные подушки, я стал отжиматься от пола. Левая икроножная мышца превратилась в камень, сведенная адской судорогой, но эта боль уже казалась лишь фоном, тонущим в водовороте других, куда более страшных болезненных ощущений.

Я знал, что мое лицо сейчас искажено до предела, что губы побелели, а на лбу, несмотря на лютый холод, выступила испарина. Но я должен был. Я был обязан явить себя этой армии прямо сейчас.

Гвардеец, вовремя спохватившись, подхватил меня. Одной рукой он крепко вцепился в мой пояс сзади, другой поддерживал под локоть — со стороны, из-за бортов саней, эта по-

мощь была практически незаметна, словно император встает сам. Но без этой опоры я бы просто рухнул обратно.

Усилием, едва не разорвавшим связки, я выпрямил спину. Моя голова в нелепом арсенальском шлеме, а затем и плечи, закованные в бахтерец, поднялись над краем саней, попадая в поле зрения тысяч замерших в шоке людей. Ветер ударил в разгоряченное лицо.

Я скинул свободную правую руку вверх, сжав ее в кулак, и, собрав в легких все остатки воздуха, выкрикнул не старческим сорванным голосом, а настоящим рыком раненого зверя:

— Я ЖИВ!!!

От автора:

Он все знал о кораблях и грезил морем, пока неизвестный не предложил ему пари и он оказался в теле Великого князя Константина. 1853 год война начинается. Пишется 9 том

<https://author.today/work/333355>

Глава 6

Петербург

1 февраля 1725 года

И тут на площади вспыхнула абсолютная, первобытная вакханалия.

Новгородцы взревели. Этот рев тысяч луженых глоток ударил по ушам так, что на мгновение я оглох. Солдаты толкались плечами, ломали строй, превращаясь в единую, клокочущую, воинственную массу. Сюда, лязгая амуницией, уже бежали гвардейцы из других полков, почуявшие запах пороха и крови.

Они были возбуждены до крайности. Я смотрел на это море штыков и искаженных лиц и холодел от ясного понимания: найдись сейчас в этой толпе хоть один талантливый провокатор, хоть один горластый оратор, который смог бы направить этот адреналиновый шторм против меня — и начался бы такой бунт, по сравнению с которым исторические стрелецкие волнения показались бы возней малышей в песочнице. Меня бы стерли в порошок вместе с санями.

Но они смотрели на меня иначе. Солдаты пожирали меня горящими глазами. Седые офицеры и унтеры исступленно крестились, глядя на закованную в сталь фигуру в санях не как на монарха, а как на сошедшее с небес божество, неуяз-

вимое для пуль.

А я стоял. Высоко вздернув подбородок, расправив плечи под тяжестью бахтерца, я излучал абсолютную, монументальную уверенность.

Чего мне это стоило — знал только я. И, возможно, дьявол или господь Бог.

Тело горело в аду. Какие силы удерживали меня в вертикальном положении, я не понимал. Впервые за эти дни мой сугубо материалистичный, прагматичный разум дрогнул — я начал всерьез допускать мысль, что действительно храним Богом.

Иначе объяснить, откуда во мне, в этом больном, разваливающемся теле, взялась такая нечеловеческая мощь, было просто невозможно. Да, я всегда считал себя человеком сильным, волевым. Но ресурсы физиологии не безграничны! То, что я сейчас стоял ровно, всем своим видом доказывая, что я здоров, несокрушим и полон сил — это был мой личный, невидимый миру подвиг. Жаль только, что за такие подвиги не дают орденов.

Я бросил взгляд туда, где секунду назад скрылись стрелки. Там, где десятки тяжелых солдатских сапог перемесили снег, расплывалось огромное, яркое багровое пятно. От убийц в прямом смысле слова остались только кровавые лоскуты и куски мяса. Толпа разорвала их на части, не оставив следствию ни единого шанса выбить из них имена заказчиков.

Впрочем, я не сильно расстроился. Следствие, конечно,

будет. Я сам направляю его по нужному руслу. А если улик не найдут? Что ж, я человек практичный. Я знаю, кого назначить виновным в этом покушении. Кто там у нас из высшей знати не явился сегодня во дворец с повинной? Князь Юсупов? Отличная кандидатура на плаху. Ну или миллион... Такие деньжищи спасут сотни, тысячи людей, позволит улучшить демографию, как путем строительства акушерских лечебниц, образовательных медицинских учреждений, так и привлекая иностранцев.

Вот... даже в такой ситуации государь должен думать совсем иными категориями, чем кто либо другой.

И вдруг сани качнулись.

Солдаты, отпихнув в сторону кучера, в одно мгновение распрягли лошадей и откинули оглобли. Двадцать здоровых мужиков в зеленых мундирах облепили экипаж со всех сторон. Раздался дружный выдох — и сани, тяжеленные деревянные сани вместе со мной, тяжело оторвались от земли.

Они подняли меня над своими головами.

Творилось нечто невообразимое. Меня понесли к Зимнему дворцу на руках. Я физически ощущал эти плотные, обжигающие эманации фанатичной преданности, исходившие от толпы. Эта сумасшедшая энергетика проникала в меня, резонируя в груди. Уже думал, что лишку дал в борьбе за умы гвардии и армии.

Устоять на ногах в раскачивающихся на весу санях было чертовски сложно. Меня спасло лишь то, что верный тело-

хранитель, стоявший сзади, мертвой хваткой вцепился мне в пояс, а сам я до побеления костяшек сжал железный поручень. Так я и плыл над морем солдатских голов, стиснув зубы, продолжая изображать непоколебимого римского императора.

Благо, до дворца было недалеко — метров триста пятьдесят, не больше. Будь расстояние хоть на сотню шагов длиннее, мое сердце бы просто остановилось. Хотя что мы знаем о своих потаенных силах?

Сквозь хаос прорезался четкий, ритмичный лязг. Это суворовцы — моя Особая рота почетного караула — действуя слаженно и жестко, начали оттеснять беснующуюся пехоту, беря плывущие сани в стальное кольцо оцепления. Они прорубали коридор к парадным дверям.

Как только сани плавно опустили на каменные плиты перед крыльцом, я позволил себе медленно, не теряя достоинства, опуститься на бархатные подушки. Я прикрыл глаза, концентрируясь лишь на том, чтобы не потерять сознание прямо здесь, на ступенях.

Теперь предстоял финальный аккорд.

Я заставил себя открыть глаза. Оперся на борт саней. Встал. Отстранил руку бросившегося на помощь охранника. Тяжело, но твердо перешагнул через борт.

И самолично, печатая шаг, вошел в высокие парадные двери Зимнего дворца.

Тяжелые дубовые створки с глухим стуком захлопнулись

за моей спиной, отсекая рев толпы, морозный ветер и необходимость играть роль всесильного бога.

Здесь, в полумраке дворцового холла, натянутая до предела струна лопнула. Зрение моментально сузилось до темной точки. Ноги превратились в вату.

Я обмяк и беззвучно рухнул вниз — прямо в вовремя подставленные руки бледного генерала Матюшкина и подскокившего майора Салтыкова.

Сознание не потерял, хотя оно и было мутным, словно бы в замедленном фильме, пленку которого еще и зажевало, ну или носитель стал подвисать. То отчетливо слышал, то рваные звуки проникали в мозг. То видел, словно бы ничего и не изменилось, то как будто на глаза накладывали чуть просвечивающуюся повязку.

Гвардейцы подхватили меня под руки с двух сторон.

— Дорогу! Расступись!! — рявкнул генерал Матюшкин, да так, что я мог бы удивиться, если бы только не отвлекался на собственное состояние.

Гвардейцы, сопровождавшие нас, лязгая амуницией, врезались в толпу придворных, расчищая путь. Они просто грубо, плечами и прикладами, оттесняли разодетых вельмож, которые вновь, как жирные тараканы на кухне, почуявшие крошки, выползли из своих нор и бродили по коридорам Зимнего дворца в поисках неизвестно чего. Точнее, в поисках власти.

Я плыл в этом коридоре из лиц и мундиров на грани бес-

памятства. И лишь когда моя спина коснулась мягких перин, я позволил себе роскошь окончательно отключиться.

...Вынырнул я из темноты от резких голосов за дверью.

— Никого не пущать! Приказ государя! — требовательным, железобетонным тоном рубил генерал-майор Матюшкин.

— Нас — можно! Мы — семья! Император уже как двенадцать часов спит — это был голос моей старшей дочери, Анны. Откуда только в этой девчонке взялось столько грозной, повелительной стали? — С нами законный наследник российского престола! Мы должны быть у ложа императора, что бы там ни происходило!

— Да! — звонко выкрикнул мой внук, великий князь Петр Алексеевич. На последнем слове его детский голосок дал петуха, сорвавшись на визг, выдавая отчаянный страх мальчишки.

Я с трудом разлепил тяжелые веки. В спальне пахло ладаном, камфорой и чем-то кислым.

— Пустите... — прохрипел я.

Надо мной, низко склонившись, нависал лейб-медик Лаврентий Блюментрост. Одной рукой он сжимал мое запястье, отсчитывая удары пульса, в другой держал склянку. Тут же, в красном углу, под тускло мерцающими золотом царскими иконами, истово отбивал поклоны и шептал молитвы Феофан Прокопович.

Я словно совершил временную петлю, вернувшись в ту самую точку, в которой очнулся несколько дней назад, впервые попав в это тело. Да, декорации те же, но был существенный нюанс...

Тело отзывалось тупой, ноющей болью. Я понимал, что словил жесточайшее переутомление. Резкое падение на дно саней, дикий выброс адреналина, холод — всё это спровоцировало новый приступ. А еще я чувствовал жгучую резь внизу живота. Видимо, во время той тряски катетер, с помощью которого я только и мог мочиться, вышел, и пока я спал в беспамятстве, Блюментросту пришлось вставлять эту металлическую трубку заново. Пытка, врагу не пожелаешь. Но... я не помню. Спал? Наркоз? Второе точно нет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.